

Снится мне детство.

Снится Вовка. Вовка по малолетству был непоседой: ни стоять, ни сидеть спокойно не мог. Он всё время где-то бегал, дразнил каких-то собак, таскал за хвост каких-то кошек, бил какие-то стёкла, пел какие-то песни и лепил из пластилина каких-то дураков. Это были не то человечки, не то зверушки – пучеглазые и весьма милые. Выражение глаз у них было форменно дурацкое, этим они и заслужили себе прозвище. Дураков Вовка рассаживал вокруг дома – в кустах, под лавками, в ветвях старого дуба. Некоторым из дураков – примелькавшимся – Вовка устраивал публичные казни: лез на крышу сарая в солнечный день, ставил неуютную фигурку на солнцепёк, – и та таяла, расплзалась и превращалась в непонятного цвета пластилиновую лепёшку. Вечером, когда становилось прохладно, Вовка эту лепёшку с шифера соскребал, скатывал в шарик, добавлял ещё пару и лепил нового дурака. Такой вот выходил круговорот.

Вовкина мама, добрейшая женщина, в сыне видела талант вселенского масштаба и ухитрялась стягивать дураков с эшафота, если Вовки не было рядом. Она становилась на лавку у сарая, снимала несчастного, шла в дом и прятала его в коробку в своём бездонном шкафу. Вскорости дураков в коробке накопилось с дюжину. Вовке она ничего не говорила, а потому тот решал, что кому-то удаётся сбежать, объявлял беглецов в розыск и тратил ближайший день на исследование окрестностей. Окрестности вздыхали облегчённо – целый день без разбитых окон.

Когда Вовке стукнуло двадцать, мать торжественно вручила ему коробку со спасёнными дураками. Вовка был счастлив безмерно, потому что детство, как и все мы, очень любил и любой ниточке, связывающей настоящее с тем сладким временем, был рад.

Снится мне, что я иду по тропинке вдоль железной дороги, а вокруг меня прыгает Вовка, кружит, забегает вперед, торопит и повизгивает:

– Ну, давай, шевелись, дурак! Шевелись!

Я понимаю, что сплю, но ссутулив плечи продолжаю идти. Солнце светит в затылок, и от ступней моих вперёд тянется длинная тощая тень, неуклюже

дёргающаяся в такт ходьбе. Вовка, суется, топчется по моей тени, и мне от этого неприятно, хочется подобрать её, перекинуть через плечо и брести так, не давая пачкать её пыльными сандалиями.

– Не шали, Вовка, – отвечаю. – Я не дурак. Дураки у тебя под кустами прячутся.

Хотел ещё сказать про коробку, но вспомнил, что *этой* Вовке ещё рано знать о тайнике. Пусть ждёт до двадцати.

Краешек моего сознания вздрагивает от фразы «под кустами прячутся», мне становится жутко – они ведь не прячутся, Вовка сам их туда рассаживал.

Вовка, забежав порядочно вперёд, что-то выкрикивает мне в ответ, что-то резкое, может быть, обидное, но я ничего не слышу, потому как внезапно из-за правого моего плеча вылетает оглушительно грохочущий поезд.

Меня во сне ничем не удивить, я останавливаюсь и начинаю подпрыгивать на месте, махать несущемуся составу руками, радостно что-то кричать, вагоны мелькают стремительно, я не вижу даже пробелов между ними. Начинаю часто-часто моргать, чтобы вместо кино смотреть диафильм. В одном из бесчисленных окон выхватываю взглядом знакомое лицо. Я поворачиваю голову и не вижу на тропинке Вовки, вокруг меня – никого. Оглядываюсь и понимаю, что лицо в вагоне – Вовкино, это он там, подлец эдакий. Запрыгнул-таки.

Поезд так же резко, как появился, превращается в уползающую вдаль гусеницу, шум пропадает, я машу вслед Вовке, выпрыгиваю на шпалы, продолжаю махать, поезд уже едва виден – козявка какая-то у горизонта. В небе по одной начинают появляться звёзды, но свет за моей спиной не тускнеет. Я замечаю что-то между шпалами, наклоняюсь и поднимаю одного из Вовкиных дураков, того самого, что он мне подарил как-то в пьяном угаре лет пять назад. У дурака добрые глупые глаза, он непонятно какого цвета, и ручки его крохотные растопырены в стороны, будто для объятий. Кладу дурака в карман и поворачиваюсь, чтобы посмотреть на солнце, которое не меркнет.

Просыпаюсь. Просыпаюсь и вижу яркий свет. На меня мгновенно обрушивается шквал голосов, звуков и запахов, я зажмуриваюсь, моргаю и

понимаю, что какой-то умник светит мне в лицо фонарём.

Отталкиваю его руку.

– Ты чего разлѣгся? Проехать дай! – скрипит обладатель фонаря.

Я, стяхивая остатки сна, оглядываюсь и понимаю, что за время небытия сполз в кресле – хорошо, на пол не свалился – и длинные мои ноги перегородили проход между рядами. Я в зале ожидания, вокруг полно народу, и подобные фривольности недопустимы. Надо мной стоит косматый старик и светит на меня пластмассовым фонарём «Хрустальный родник». На старике какие-то лохмотья, куртки, пиджаки, рубашки.

«Сто одежек и все без застѣжек», – думаю я и подтягиваюсь в кресле, поджимая ноги. Старик признательно козыряет мне грязной ладонью, опускает фонарь куда-то за пазуху и мелкими смешными шажками, почти не отрывая подошв от пола, начинает шаркать между креслами.

Смотрю вслед. На ногах у него замызганные сапоги, в которые заправлены костюмные брюки в мелкую полоску.

Старик, не останавливаясь, оборачивается и ещё раз коротко козыряет мне через плечо. Киваю в ответ. Он улыбается и продолжает своё шествие по залу, задевая людей и лежащие на полу сумки. Вскоре он скрывается за колонной, и я теряю его из виду.

Я окончательно просыпаюсь. Всё тело замлело и ноет, а кроме того, я порядком вспотел и от этого мне неудобно. На коленях у меня жиденький рюкзачок, постукиваю по нему ладонью, убеждаясь, что он за время моего сна не опустел совсем.

До поезда ещё полчаса. Терпеть не могу ждать.

В кресле напротив расположился толстяк в шляпе. Поднимаю на него глаза и вздрагиваю. Толстяк спит, запрокинув голову (как только шляпа держится?), толстые ладони сплетены на саквояжке, рот широко открыт. По щеке, приближаясь к пышным седым усам, пробирается жирная чёрная муха. Замирает, делает пару мушьях своих шажков и снова замирает, словно боясь разбудить.

Я брезглив. Если бы по мне спящему – да даже, если и по мне мёртвому – ползла муха, я бы хотел, чтобы её смахнули.

Муха двигается к усам толстяка, а всем вокруг плевать, и никто этого не замечает. Рядом с усачом сидит, насупившись, его жена – тучная дама неприветливого вида – и читает что-то пѣстрое.

– Простите, – говорю я ей.

Не слышит.

– Я прошу прощения.

Дама медленно поднимает глаза.

Показываю пальцем на толстяка. Муха уже упѣрлась в ус и робко трогает его лапкой.

Дама, хмурясь, медленно поворачивает голову, медленно кривит губы и тыльной стороной ладони шлѣпает супруга по щеке. Муха взмывает, а толстяк вздрагивает, распахивает веки и смотрит на жену с таким непониманием, что мне его становится жалко.

Жена уже продолжает чтение, не обращая никакого внимания ни на мужа, ни на меня. Толстяк что-то бормочет в усы и выуживает из саквояжика пачку сигарет. Хлопает по карманам и, поняв, что чего-то в них недостаёт, толстым указательным пальцем осторожно касается плеча благоверной. Та, не отрываясь от журнала, выдѣргивает откуда-то длинную сияющую зажигалку и суёт мужу. Муж благодарно крикает, поднимается и семенит к выходу на перрон.

Меня опять клонит в сон. Чтобы не проспять, решаю оставшееся время провести на воздухе. Медленно встаю, накидываю на плечо рюкзак и иду вслед за толстяком.

На перроне гуляет ветер, стучит вдалеке стройка, по небу перекатывается пух облаков. Ох, как же хорошо дышать.

Справа, у самых путей, топчется в клубах дыма толстяк. Ловит мой взгляд и смущѣнно отворачивается.

Я прохожу вперѣд, к лавкам, воткнутым в самую середину перрона. Людей вокруг – раз-два и обчѣлся.

Сажусь на холодную лавку и раскрываю рюкзак. Вещей по минимуму, сверху устроились книга и завернутый в бумагу Вовкин дурак.

Достаю книгу, пытаюсь читать, но мешает ветер – хватается за страницы, дѣргает, мнѣт. Ветру невдомѣк, что человек, по слову Бродского, есть продукт чтения, ему не объяснишь, что рвать порядочные издания – нехорошо.

Уступаю.

Откладываю книгу и достаю дурака. Разворачиваю, смотрю в добрые его глаза. Воспоминания обрушиваются с грохотом, сливаются с приснившимся, кружат в вихре. Ветер треплет воспоминания, как трепал страницы, вѣт из них узоры, разворачивает перед моими глазами причудливую вязь.

Помню, Вовка дѣрнулся резко, встал из-за стола, чуть не повалив его. Сунул руки в шкаф по локоть, что-то схватил, протянул мне.

– Держи. Дарю.

В ладони у него – один из дураков, смотрит на меня, ручки в стороны разводит.

Я, помню, усмехнулся.

– На кой он мне?

– Обижаешь.

Что я, Вовку не знаю? Как ни напьётся, бывало, раздаривает дураков. Я и взял.

Вовка тогда пил без продыху. Жена ушла, с работой не складывалось, вот и повело. Стал друзей звать – что ни вечер, полна горница народу. А потом и друзья приходиться перестали – не из презрения, а просто так, как-то само собой всё расплозлось, позабыли друг друга. Теперь вот снова соберёмся. Да.

– Что за дурак? – вырывает меня из объятий памяти скрипучий голос.

Смотрю – тот самый дед, что в меня фонарём светил. Стоит, смотрит заинтересованно, пятернёй бороду чешет.

– Да, так, – говорю, – подарили. А чего дурак-то?

Дед фыркает.

– А то я дурака не узнаю? Вон, – тычет пальцем, – глаза глупые какие.

Пауза.

– А добрые, – говорит.

– Ага, – киваю. И начинаю дурака в бумагу заворачивать.

Но у деда другие планы.

– Подари.

– Не могу, – вздыхаю я и заталкиваю свёрток в рюкзак.

– Жлоб? – интересуется дед.

– Жлоб, – улыбаюсь. – Самому подарили, говорю же.

– Ну и ладно.

И смотрит обиженно.

А сам – ни с места. Я смотрю вдаль, мне неловко. Даль ясная, солнечная, там птицы поют, деревья шумят.

– А на фонарь поменяешь? – начинает снова.

– Извините, – говорю, – не могу. Подарок друга.

– А друг хороший?

– Хороший.

– Ну и ладно тогда. Фонарь всяко нужнее.

– Согласен.

Дед замолкает и тоже смотрит вдаль.

– Ты кем служишь? – спрашивает.

– Журналистом.

– Ну и дурак.

Молчу. И дед замолкает. Потом садится рядом со мной вполборота, придвигается и заговорщически шепчет:

– А я – машинист.

Какой забавный старик.

– Машинист? – переспрашиваю.

– Точно, – козыряет грязной ладонью.

– Сейчас постою с тобой чутка и дальше поеду.

И машет вдаль.

– А куда поедете?

– Как куда? – удивляется. – Знамо дело, за гроб.

Вздыхаю.

– Понятно, – говорю.

Всё понятно. Больше и пояснять ничего не надо. Но почему-то спрашиваю:

– А поезд где?

– Хех, – усмехается. – Слепой ты что ли?

И кивает себе за спину.

За спиной у него опустевший перрон, даже толстяка не видать. Вокзал смотрит важно, под самой крышей у него красуется: «1902».

– О, – говорю, – точно. И как это я не заметил такого поезда?

– Это потому, что ты невнимательный и поверхностный.

Точнее некуда. Может, вернуться в зал ожидания? Там можно выпить кофе, можно выбрать газету. Но почему-то продолжаю задавать вопросы:

– А что везёте?

Дед оглядывается. Задумывается.

– Так-то много чего. Всё моё, – кивает так, словно я его заподозрил в краже. – Жизнь, она, брат, во какая длинная, всего понабрал, – разводит руки. – А в основном – грехи.

Сколько ещё ждать? Ещё приложит чем-нибудь – тем же фонарём. Сажусь вполборота, чтобы быть начеку, смотрю старику в глаза.

– Ну, чего ты так смотришь? Легко, думаешь?

– Не думаю, – отвечаю.

– Вот видно, что не думаешь. Как зерно возят, видал?

– Видал.

– Вот. А я так грехи везу.

– А чего, – говорю, – вы их везёте? Бросьте – и налегке.

Дед вдруг захохотал, прямо-таки затрясся от смеха. Смеялся долго, запрокинув голову и демонстрируя полный набор жёлтых квадратных зубов. Потом долго не мог отдышаться.

– Как же я вагоны отцеплю? Мог бы – понятно, давно уже бросил бы. Да только тут не моя воля.

– А чья?

Старик делает серьёзное лицо и многозначительно поднимает к небу указательный палец.

Я молчу. А потом опять спрашиваю. Что ж такое со мной сегодня?

– А ваша воля где?

– А моя воля была, когда копил. Копил-копил, а вот теперь приходится всю эту дрянь на себе волочить.

– А что, – говорю, – тяжело волочить-то?

– Ну ты деревня, – фыркает. – Знамо дело, тяжело! Знамо дело, тяжело! – Взгляд его вдруг становится серьёзным. – Но что уж тут.

Слева слышится грохот. Он нарастает, наваливается на перрон – и перед нами возникает поезд. Мой. Подполз, раззявил двери – на перрон посыпался народ.

Пора. Встаю. И старик встаёт.

– Подари дурака.

– Ох, отец, – говорю, – дался он тебе.

– Дался, – говорит. – Глаза больно добрые.

Ну вот, а почему, собственно, и нет? Вовке он всё равно ни к чему, а у доброй Вовкиной матери наверняка один-два в коробке запрятаны.

Достаю свёрток, протягиваю.

Дед аж заискрился, борода расползлась в разные стороны, только что не заплакал от радости.

– Спа-си-бо, – берёт дурака и прячет за пазуху. – Хороший ты малый. Только глупый. Бог в помощь.

– И вам не хворать, – говорю.

Старик поворачивается спиной и принимается шаркать по перрону.

Я подтягиваюсь к вагону, вручаю проводнице билет. Она смотрит в спину шаркающему машинисту и говорит мне доброжелательно:

– Это машинист, что ли? Вы не обращайте внимания... Он тут ко всем пристаёт.

Старик, словно услышав её, оборачивается:

– Журналист!

Поднимаю руку.

– Во всех грехах раскаяться можно! Кроме одного! – козыряет и удаляется.

Остаюсь стоять с поднятой рукой.

– Да ничего, – говорю я проводнице.

Она пожимает плечами и возвращает билет:

– Десятое место.

– Спасибо.

Прохожу по вагону, задевая рюкзаком шторки. У одного окна останавливаюсь, вижу как по перрону бредёт куда-то прочь от вокзала мой старик. В руке фонарь. Бледное, едва заметное пятно света скользит по заплёванному асфальту.

Захожу в купе – пустое. Опускаюсь на полку, заталкиваю под голову рюкзак. И не дожидаясь, пока поезд тронется, засыпаю.

Снится мне Вовка. Вовка часто мне снится.

Он сидит у железной дороги на валуне, в руках у него пластилин. Подхожу, сажусь рядом – на траву.

– Дураков лепишь?

– Дураков.

– Ну, лепи, дело неплохое.

Вовка пыхтит, старается, но пластилин слишком мягкий, слишком податливый, так нельзя. Вовка весь раскраснелся, ёрзает. Я вижу, что по его щеке ползёт черная муха.

– Вовк.

– Не мешай.

– По тебе муха ползёт.

– Пускай.

Никаких «пускай». Легонько хлопаю Вовку по щеке. Он вскакивает.

– Ты чего дерёшься?! Отдавай дурака!

– Вовк, я муху согнал.

– Всё равно отдавай!

Я унижаться не намерен, хлопаю по карманам. Вспоминаю, что дурака у меня нет.

– Нет у меня твоего дурака, Вовк.

– Куда дел?

– Старику отдал.

– А и ладно, – Вовка садится на камень и продолжает возиться с пластилином. – Я ещё налеплю.

Сижу и смотрю. Пальцы у Вовки ловкие, все перепачканы, под ногтями глубоко черно.

– Ты обиделся что ли? – спрашиваю.

– На что?

– Ну, за дурака. Что я его отдал.

– Нет, – отвечает Вовка, и я вижу, что там, где была на его щеке муха, блестит слеза.

– Я ж его тебе вёз. Правда. Да уж больно старик чудной.

– Понял, – сухо отвечает Вовка.

Сидим молча. За моей спиной закат. Над Вовкиной макушкой небо густо оранжевое. Вокруг – сухое и жёлтое поле.

– Вовк, – решаюсь я наконец.

– Что?

– А ты зачем?

– Что зачем?

– Самоубился зачем?

Вовка поднимает глаза. Пару секунд смотрит молча. Потом открывает рот и начинает быстро-быстро что-то говорить, еле сдерживая слёзы.

Но в этот самый момент справа возникает поезд, он несётся, ревёт, гремит, я не слышу ни единого Вовкиного слова. Воздух пропитывается каким-то смрадом – невозможно дышать; над рельсами мелькают один за другим серые грузовые вагоны. Вонь идёт от них.

Я смотрю на Вовку, он что-то тараторит, но ничего не разобрать – слишком громыхает.

Поезд уносится вдаль, я просыпаюсь.

Полка мягко покачивается, колёса выстукивают свой несложный ритм. Мимо закрытых дверей проплывают шаги – удаляются, исчезают.